

A detailed oil painting of a man and a woman in 19th-century attire. The man, in the background, wears a dark blue military uniform with gold buttons and epaulettes, and has a sword at his waist. The woman, in the foreground, has long, wavy brown hair and wears a white blouse with a high collar and a dark vest. They are both looking towards the viewer with serious expressions. The background shows a rustic wooden building and a green field.

Анна и кочерга

Владимир Кожедеев

Исторические детективы

Владимир Кожедеев

Анна и кочерга

«Автор»

2026

Кожедеев В.

Анна и кочерга / В. Кожедеев — «Автор»,
2026 — (Исторические детективы)

История "Анна и кочерга" начался 1847 году, в Российской империи. Молодой штабс-капитан Алексей Воронов возвращается в родовое имение Отрадное, чтобы обнаружить: его разорили. Управляющий-немец ворует, крестьяне в долгах, а соседний помещик, надворный советник Стрешнев, скупает земли вокруг, явно метя захватить усадьбу. Алексей клянётся спасти наследие предков — и ввязывается в опасную игру, ему помогала Анна. Но судьба подкидывает ему не только врагов. На ярмарке он спасает от гибели загадочную красавицу Анну Стрешневу — племянницу своего недруга. Девушка умна, дерзка, играет на фортепиано и хранит страшную тайну: её дядя уморил её отца. И у неё есть дневник, способный устранить... «Анна и кочерга» — это не дамский роман. Это детектив в декорациях XIX века, семейная сага с исторической точностью и психологическая драма, от которой плачут мужчины и замирают женщины. Когда кажется, что всё кончено — война только начинается. Иногда её ведут железом. А иногда — железным прутом у камина.

© Кожедеев В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Возвращение в пепел.	5
Глава 2. Хозяйство, хитрость и первая рана сердца.	11
Глава 3. Узел, который связывает.	17
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Владимир Кожедеев

Анна и кочерга

Глава 1. Возвращение в пепел.

Октябрь 1847 года выдался на редкость скверным. Мелкий косой дождь, какой бывает только в смоленских краях, сек лицо, превращал проселочную дорогу в месиво из чернозема и конского навоза. Тарантас, подаренный отставным ротмистром на прощание, утопал в грязи по самые ступицы. Кучера Ефима, старого солдата с нашивкой за Севастопольскую кампанию, выругался в десятый раз и хлестнул пристяжную.

— Господин штабс-капитан, — обернулся Ефим, — до Отрадного версты две, а ночь на носу. Не ровен час — волки.

Алексей Воронов приоткрыл запотевший плащ. Ему было двадцать шесть, но глаза смотрели лет на тридцать пять — устало, пристально, с той холодной внимательностью, которую дают не годы, а потери. Он провел ладонью по щетинистому подбородку (с детства брился плохо, мать смеялась: «чтобы пупок развязать — и то порежешься»), вздохнул и сказал:

— Пусть лучше волки, чем то, что я видел в Петербурге. Поехали.

Имение Отрадное стояло на семи ветрах — на высоком берегу реки Угры, той самой, по которой когда-то стояли войска Ивана Грозного. Дед Алексея, Петр Иванович Воронов, сподвижник Суворова, выбрал это место не случайно: из окон барского дома открывался вид на три губернии. В ясный день, говорили, можно было различить купола Калуги.

Но сейчас, когда тарантас выкарабкался на пригорок, Алексея ударила не красота, а запустение.

Ворота, когда-то украшенные львиными масками, висели на одной петле. Конюшня наполовину разобрана на дрова. Барский дом, белый колонный особняк в стиле ампира, напоминал скелет: штукатурка обвалилась пластами, два окна заколочены крест-накрест, в третьем — разбита рама. Из трубы шел жидкий дым, будто дом курил махорку.

— Ефим, — тихо спросил Алексей, — где мои березы? Отец при мне сажал аллею.

— Порубали, барин. Ваш управляющий продал лесопилке на доски. Прошлой зимой.

— Как его зовут?

— Карл Карлович Мюллер. Старый немец.

Алексей вспомнил: отец взял Мюллера в 1835 году, сразу после холеры. Тот был тихий, забитый, с красными глазами и вечно мокрыми усами. «Надежный», — сказал тогда отец. «Жадный», — добавила мать. И оказалась права, как всегда.

На крыльцо вышел сам Мюллер — в жакете с чужого плеча, в шлепанцах на босу ногу, с подносом в руках. На подносе стоял помятый самовар и две фарфоровые чашки из сервиза, который Алексей помнил с детства (мать называла его «севрским», хотя на самом деле это был поддельный Тверской фарфор, но память не обманешь).

— Господин Воронов, — затараторил немец ломаным языком, — как же мы ждали... Я тотчас велю приготовить голубцов по-берлински, госпожа моя уже ставит тесто...

— Карл Карлович, — перебил Алексей, спрыгивая в грязь. Сапоги чавкнули. — Почему дом не тоplen?

Мюллер заморгал. Красные глаза забежали.

— Дрова, сударь... Дрова нынче дороги. Угодья проданы частью.

— Каким угодьям? Какие продажи? У меня нет доверенности.

Немец побледнел так, что веснушки выступили точками. Он поставил поднос на ржавые перила, полез в карман жилета и извлек грязный конверт.

— Покойный батюшка, царство небесное, перед смертью подписали... Год назад. Вексель на имя господина Стрешнева. И залог — вот угожья, значит...

Алексей взял конверт, как берут дохлую мышь — через платок.

— Аркадий Петрович Стрешнев? Сосед?

— Он самый-с. Приезжал через месяц после похорон, плакал, поминал батюшку, а потом говорит: «Должок, любезный Карл Карлович, надобно обслуживать». И забрал лесопильню, пасеку и три деревни.

— Три деревни? — Алексей повернулся к Ефиму. Тот стоял, сжимая кнут, как ружье. — Ефим, какие деревни?

— Грибаново, Зайцево и Плоское, — выдохнул кучер. — Сто двадцать душ. Мужских.

Мир заштался. Алексей прислонился к колесу тарантаса, вдыхая запах дегтя и гнилой соломы. В голове звенело: «сто двадцать душ». Это не просто цифра. Это крестьяне, которые ходили на барщину к его деду, пахали землю, умирали от чахотки и строили эту проклятую лесопильню.

Отец учил его верховой езде, когда Алексею было семь лет. Не в манеже — в чистом поле. «Дворянин не тот, кто умеет подписать вексель, — говорил батюшка, — а тот, кто не падает с седла в крови». Но Алексей упал. Лошадь, белая кобыла по кличке Волна, чего-то испугалась — то ли змеи, то ли собственной тени. Полетел вверх ногами, нога запуталась в стремени, протасило по камням. Правое колено разбито в мясо, рубаха в клочья, нос разбит.

Мать бежала через поле, подолом утирая ему щеки. «Алешенька, зачем же так? Он же маленький!» Отец, высоченный, седой, смотрел сверху вниз: «Встань». Алексей захрипел, попытался — упал. «Встань, говорю». Поднялся на дрожащих ногах, выплюнул песок. «Теперь садись обратно». И посадил на Волну. Кобыла всхрапнула, но пошла шагом. С тех пор Алексей боялся только одного — показать страх. Всё остальное — гордость, обида, паника — прятал в кулак.

(Интересный факт: в 1840-е годы в России было модно держать английских чистокровных лошадей. Отец Воронова же предпочитал орловских рысаков, выведенных графом Орловым. Волна была помесью с арабским скакуном — оттого и нервная.)

В 1832 году отец отдал Алексея в пансион при Царскосельском лицее (не том, где учился Пушкин, а новом, для детей обедневших дворян). Там Шурик — так его звали одноклассники — терпел насмешки за калужский говор («квакает, как лягушка»). Директор, отставной полковник ***, поощрял «благородные состязания». То есть мальчишки лупили друг друга учебными шпагами с затупленными концами, и это считалось фехтованием.

Однажды старшеклассник Лопухин, грузный и рыжий, обозвал Алексея «смердом». И добавил что-то про мать. Алексей в тот день что-то ел на обед — гороховый суп, который ненавидел до колик. И вдруг горох превратился в огонь.

Дуэль назначили в спортзале, при свидетелях. Лопухин фехтовал по-французски — эквилибристика, пируэты. Алексей — по-русски: жестко, прямо, без поклонов. Первый удар — и шпага противника вылетела. Лопухин заехал ему в челюсть кулаком (по правилам нельзя, но кому какое дело?). Алексей ответил — и был таков: три дня в лазарете с сотрясением. Но репутация была сделана. «Воронов — боец», — шептались за спиной. Он впервые понял: честь не покупают, честь отбивают.

(Любопытный факт: в императорских пансионах того времени детей учили не столько наукам, сколько «муштре и покорности». Но именно там зарождались тайные общества — кружки, где мальчишки читали запрещенного Полежаева и спорили о Хомякове. Алексей был в одном из таких, но быстро разочаровался: болтовни много, дела мало.)

Учился Алексей посредственно. Латынь ненавидел, греческий терпеть не мог, историю запоминал как набор анекдотов. Но однажды учитель математики, старый немец Готлиб Федорович, вызвал его к доске — решить задачу про оброк и процент. Алексей, который от скуки

чертил на полях чертиков, вдруг взял и вывел формулу, которой сам Готтлиб не знал. «Ах, Готт мит унс, — сказал немец, — вы, барин, или гений, или безумец».

Математика была для него прозрачным лесом, где каждая цифра — дерево, а действие — тропинка. Позже, в полку, этот талант помогал ему вычислять артиллерийские залповые таблицы быстрее любого штаб-офицера.

А тайные ходы — это особая страсть. В усадьбе Отрадное со времен Суворова существовал подземный коридор от барского дома к часовне в дубовой роще. Дед сделал его для защиты от разбойников, отец запустил. Алексей, в возрасте двенадцати лет, случайно нашёл люк в буфетной, пролез в пыльную темноту и брел два часа, пока не уперся в заржавевшую решетку. Страшно было до колик — но интересно до жути. Он полюбил скрытность. Стал замечать, что взрослые говорят одно, а думают другое, что жандармы в пансионе (да-да, там они тоже были) записывают каждого. И научился читать по губам.

(Забавный исторический факт: в середине XIX века многие русские усадьбы имели «ходы для побега» на случай крестьянских бунтов или пожара. Но чаще всего эти ходы использовали любовники и воры.)

В девятнадцать лет, сразу после смерти отца (от разрыва сердца, узнав о проигранном иске), Алексей пошел в армию. Не в гвардию — туда брали по протекции, а в армейскую пехоту, 33-й егерский полк, стоявший под Вильно. Мать плакала, говорила: «Зачем тебе это, ты же барин», но Алексей уже знал: дворянством сыт не будешь. Нужна карьера.

Служба была грязной, тяжелой и бессмысленной — на первый взгляд. Подъем в 5 утра, развод караулов, муштра, сквозняки в казармах. Но были и хорошие дни: выезды на маневры, пирушки с офицерами, споры о Гоголе и Белинском. Алексей дослужился до штабс-капитана — потолок для человека без связей. И тут случилось.

Поручик Сергей Хвоцинский, смазливый поляк из древнего рода, подставил его. На краденном обозе с провиантом стояла печать Алексея (Хвоцинский украл ключ, когда тот спал после попойки). Ревизия — и вот уже Воронова вызывает к полковнику. «Ты, братец, или платишь три тысячи из своего кармана, или марш под суд». Друзья, которые ещё вчера пили с ним брудершафт, отвернулись. Только старый еврей Арон, полковой маркитант, помог: ссудил деньги под расписку.

Алексей взял отставку, не простившись с полком. Хвоцинский через год спился и замерз насмерть в кювете — такие были времена.

(Деталь: солдаты Николаевской армии служили 25 лет. Офицерам же жилось легче, но «шпицрутены» и «зеленые улицы» — сквозь строй палок — тогда отменили только в 1845-м. Алексей был свидетелем казни дезертира — больше никогда не мог есть говядину.)

На следующий день после приезда Алексей решил нанести визит соседу. Не с поклоном — с разведкой.

Имение Стрешнева, «Высокое», стояло в пяти верстах. Это была настоящая крепость: новый кирпичный дом с башенками, оранжерея с ананасами, конный завод орловских рысаков и — страшно сказать — собственный телеграфный аппарат, соединенный с уездом (редкость в 1847 году, такие были только у губернаторов).

Аркадий Петрович Стрешнев встретил в гостиной, обитой малиновым штофом. Ему было лет пятьдесят, но выглядел на сорок — плотный, гладко выбритый, с маленькими цепкими глазами цвета волжской воды. Пахло от него дорогим табаком, чего-то гаванским, и чуть — серой. Одет в сюртук прусского покроя, на мизинце перстень с изумрудом (по слухам, подарок от самого Бенкендорфа).

— Ах, Алексей Петрович, — раскинул он руки для объятий. — Молодость, молодость! Ваш батюшка был умнейшим мужчиной. Жаль, издержался в карты.

— Отец не играл в карты, — сухо ответил Алексей.

— Ах, ну да, ну да. Вексель, займы, вы же понимаете — такое дело. Кстати, о деле. — Стрешнев щелкнул пальцами, лакей принес поднос с бумагами. — Ваш долг, с учетом процентов, составляет на сегодня...

Он назвал сумму. Алексей внутренне похолодел. Это была цена имения, умноженная на три. Стрешнев явно не хотел денег — он хотел Отрадное.

— Я найду средства, — сказал Алексей.

— О, я уверен. — Стрешнев улыбнулся, но глаза остались холодными. — Только не очень долго, хорошо? Знаете, в нашей губернии такие земли, как ваши... быстро переходят в хорошие руки.

И он многозначительно постучал костяшками по столу. Медный звон — под столешницей, понял Алексей, что-то спрятано. Сейф? Или оружие?

Ночью Алексей не спал. Он сидел в кабинете отца, где пахло засохшими листьями и сургучом. Рояль пылился в углу — мать играла Шопена, пока у нее не отнялись руки (паралич после третьих родов). Портрет отца — тот самый, где он в мундире 1812 года (хотя отцу тогда было десять лет, художник льстил) — смотрел с упреком.

Он развернул вексель. Бумага плотная, гербовая, с печатью уездного суда. Дата — 6 августа 1846 года. Подпись отца — твердая, без дрожи. Но Алексей знал: отец писал иначе — с завитушками, как в молодости. Эту подпись будто скопировали. Или ему подсунили бумагу уже больным, в горячке. Отец умер 15 августа. Всего девять дней между подписанием и смертью.

Он взял лупу, которую дед привез из Италии. Подпись. Буква «В» — слишком ровная, не отцовская. И буква «о» — у отца она была раскрытой, как чаша. Здесь — закрытая.

— Подделка, — прошептал Алексей в темноту. — Чистейшая подделка.

Но как доказать? Где взять эксперта? Стрешнев дружит с исправником, судьей, почтмейстером. Алексей один.

Он зажег свечу, подошел к книжному шкафу, отодвинул том «Истории государства Российского» Карамзина. За ним — пустота. Пальцы нашли шершавый камень. Тайный ход. Тот самый, с детства.

В щель под дверью просунулась записка. Алексей поднял, развернул. Почерк — мелкий, бисерный, женский. Пахло фиалками.

«Не верьте немцу. Ищите в часовне. Спрятано то, что погубит хищника. Я знаю, кто вы. Вы не знаете меня. Но скоро увидимся. — Тень»

Алексей вышел в коридор — пусто. Только тень метнулась за угол, и полы юбки, черные, почти траурные. Горничная? Или сама...

Той же ночью, после ухода таинственной «Тени», Алексей не мог заснуть. Он сидел в кресле отца, перелистывал полуистлевший семейный альбом и наткнулся на дагерротип 1825 года. На медной пластине, покрытой слоем серебра, застыл сухой, как корень старой сосны, старик в глухом сюртуке с Георгиевским крестом на шее. Петр Иванович Воронов, дед.

В 1794 году (ещё при Екатерине) молодой унтер-офицер Петр Воронов, сын обедневшего рязанского дворянина, состоял в Итальянском походе Суворова. Граф Александр Васильевич, который ночевал в стогу сена и гнал солдат по сорок вёрст в сутки, заметил Воронова в деле при Нови. Там русские разбили французов, а Петр лично зарубил трёх grenадеров, прикрывая отступление батареи.

Суворов, который любил говорить: «Пуля — дура, штык — молодец», — велел позвать молодца. Воронов предстал перед полководцем: лицо в копоти, мундир разорван, левая бровь рассечена, но стоит навытяжку, как струна.

— Откуда, — спрашивает Суворов, — храбрость?

— От отца, ваше высокопревосходительство, — отвечает Воронов. — А отец от деда, а дед — от Бога.

Суворов хмыкнул — он не любил длинных речей — и снял с себя серебряный крест «За взятие Измаила» (при том, что Измаил брали ещё в 1790-м). «Носи, — сказал. — И помни: честь не в мундире, а в позвонках».

И подарил ему золотую табакерку с собственным профилем и надписью: «Петру Воронову — за твёрдость духа. Граф Суворов-Рымникский».

(Любопытный факт: Суворов действительно раздаривал солдатам свои ордена и табакерки, которых за свою жизнь изготовил более сотни. Он считал, что награда должна лежать не в шкатулке, а на груди у того, кто её заслужил.)

В 1801 году, уже при Александре I, Петр Иванович вышел в отставку поручиком. Рана в левое плечо (от штыковой атаки под Цюрихом) гноилась, правая рука почти не двигалась. Суворов к тому времени умер, но память о нём была жива. Император, лично знавший Воронова по смотру в Гатчине, пожаловал ему землю в Смоленской губернии — «для укрепления границ и заселения пустошей».

— Бери, Воронов, — сказал государь. — Но с условием: построишь усадьбу с обороной. Мало ли француз опять полезет.

Так на пустырях, где до этого росли одни берёзы да волки выли, появилось Отрадное. Название дал сам Воронов: «Вся жизнь после суворовской сечи — отрада».

Петр Иванович строил по-военному. Дом — из красного кирпича (собственного обжига), стены толщиной в аршин. Окна узкие — бойницы, но с южной стороны расширены, чтобы солнце грело. Подвал — как бункер: там хранились запасы солёной рыбы, крупы и порох (на случай бунта). И — главное — подземный ход к часовне, о котором Алексей знал с детства.

Но дед не был грубым рубакой. Он выписал из Петербурга книги, завёл крестьянскую школу (три класса: чтение, письмо и «Закон Божий»), а по воскресеньям сам читал вслух Суворовские «Науку побеждать». Крестьяне его боялись, но уважали: он не повышал оброк, около себя курить не позволял (терпеть не мог табачного дыма), а баб своих защищал от помещичьих посягательств.

Пётр Иванович был невысок, коренаст, с руками-клещами (несмотря на раненое плечо, зажимал подкову, пока красной не становилась). Лицо — в морщинах, как старая карта, глаза — серые, суворовские — пронзительные, с хитринкой. Говорил коротко, рублеными фразами. Любил вставать в четыре утра, обливаться ледяной водой и есть на завтрак гречневую кашу с луком — солдатскую.

Женился поздно, в сорок один год, на Марье Григорьевне Танеевой, двадцатилетней барышне из соседнего уезда. Она была тонкая, бледная, с усиками на верхней губе, играла на клавесине и терпеть не могла военные истории. Соседи шептались: «Суворовский птенец взял себе кисейную барышню — пропадёт». Но брак оказался счастливым. Марья Григорьевна научила мужа носить чистые рубашки, есть вилкой и не ругаться матом при дамах. А он подарил ей тот самый фарфоровый сервиз с золотыми дубами (позднее Мюллер не постеснялся из него пить — и за это Алексей никогда не простит немца).

Она умерла в 1828 году от чахотки, завещав мужу: «Береги Алешеньку». Петр Иванович пережил её всего на четыре года, но до последнего ходил на её могилу в часовню — тем самым подземным ходом, который сам и прорубил.

Алексей был подростком, когда дед рассказал ему три главных урока, которые потом станут законом.

Урок первый: про долги.

— Никогда, — Петр Иванович тыкал узловатым пальцем в грудь внука, — не подписывай бумаг, которые не понимаешь. Меня Суворов учил: «Доверяй, но проверяй». У тебя отца нет (Василий Петрович тогда был жив, но дед уже знал, что сын — мот). Ты — старший в роду.

Урок второй: про женщин.

— Барышни — они как огнестрельное оружие. — Дед хитро шурился. — Прекрасны, когда лежат на бархате. Но в руках дуры — убивают своего же. Выбирай ту, с кем в разведку пойдёшь, а не ту, с кем на бал поедешь.

Урок третий: про врагов.

Дед привёл его в подземный ход, зажёл свечу, поставил на ржавую решётку и сказал:

— Враг, которого ты видишь, — дурак. Потому что прятаться не умеет. Бойся того, кто дружит с тобой в лицо, а за спиной считает твои вдохи. В нашем роду был такой — двоюродный брат твоей бабки. Я высек его плетьюми и прогнал. Он потом донёс на меня в Третье отделение. Спасибо Бенкендорфу — разобрался. Но осадочек остался.

(Историческая справка: Александр Христофорович Бенкендорф, шеф жандармов, действительно получал доносы на отставных военных. Но к Воронову относился с уважением — как к суворовскому ветерану.)

Петр Иванович скончался в 1832 году, сидя в том самом кресле, где теперь сидел Алексей. Просто закрыл газету (читал «Северную пчелу»), положил трубку (рододендрон, без табака) и сказал: «Ну вот и всё, Марьюшка, иду».

Тело его везли на кладбище всей губернией. Говорят, старые солдаты, пережившие Измаил и Прагу, становились на колени и целовали гроб. Георгиевский крест, который подарил Суворов, дед завещал Алексею, но не тогда, когда он подрастёт, а «когда докажет, что достоин».

Алексей до сих пор не взял. Крест лежал в тайнике под дубовой доской в кабинете. Вместе с саблей суворовских времён (дар графа, с дарственной грамотой на имя Петра Воронова) и письмом Бенкендорфа, где было написано: «Пётр Иванович, на вас клеветали. Оправдан. Живите с миром».

Дед передал по наследству не только имение, но и систему шпионских уловок:

— Тайный шифр (по суворовскому «Солдатскому лексикону»),

— Список доверенных людей среди крестьян (который отец потерял, но Алексей помнил двоих — Ефима-кучера и слепого псаломщика отца Пафнутия),

— И главное — привычку проверять всё самому.

Стрешнев, которого дед при жизни называл «гадюкой в чужих эполетах», боялся Петра Ивановича как огня. Но когда старика не стало, сразу начал подтачивать Отрадное — сначала через отца-неудачника, потом через Мюллера.

Алексей поднял глаза на портрет деда в кабинете. Тот был написан в 1826 году художником Тропининым (да, тем самым, что писал Пушкина, только заказ был маленький, скромный). Дед — в отставном сюртуке, с орденами, но без парика. Смотрит прямо в душу. И губы чуть кривятся — будто знает, что задумал Стрешнев, и смеётся над ним.

— Я не подведу, дедушка, — сказал Алексей вслух и сжал край письма Бенкендорфа. — Найду правду. И верну Отрадное.

Он встал, взял саблю из тайника, провёл пальцем по лезвию — острый, чёрт возьми, через сорок лет! — и вышел из кабинета. Не дожидаясь утра, пошёл к часовне. Той самой, где прятался подземный ход. Где, по записке «Тени», лежало что-то, что «погубит хищника».

Ветер качал голые берёзы. Где-то внизу, под землёй, ждала тайна. И Алексей знал: дед одобрил бы.

Глава 2. Хозяйство, хитрость и первая рана сердца.

Алексей проснулся затемно — привычка, оставшаяся от полка. В окна бил серый октябрьский свет, на стеклах — морозные узоры вперемишку с каплями вчерашнего дождя. Он лежал на жесткой кровати в спальне родителей (свою, детскую, Мюллер давно превратил в кладовую для солений) и прокручивал в голове план.

За три дня он понял две вещи:

Мюллер ворует нагло и тупо — счета не сходятся на триста рублей серебром в месяц.

Стрешнев действует умнее — через векселя, подставных лиц и уездную канцелярию.

— Ефим! — крикнул Алексей.

Старый кучер вошел, поскрипывая сапогами. Он уже успел сходить на конюшню, почистить сбрую и переругаться с немецкими работниками.

— Слушай сюда, — Алексей набросал на клочке бумаги список. — Первое: сгоняй в уезд, найди писаря Земскую избу. Фамилия — Смородин. Говорят, у него на Стрешнева есть злость.

— Смородин, — Ефим почесал затылок. — Это который красный, как рак, и ходит с клюкой?

— Он самый. Два года назад Стрешнев отнял у его зятя мельницу.

— Было дело. Тот мужик потом повесился.

— Вот и рычаг. — Алексей придвинул к Ефиму холщовый мешочек. — Там пятнадцать рублей серебром. Скажи: это задаток. Если даст бумаги на Стрешнева — получит столько же.

Ефим взвесил мешочек на ладони, свистнул. За такие деньги можно было купить корову или нанять работника на полгода.

— Барин, а не боитесь? Смородин — человек нервный, может и Стрешневу продать.

— Не продаст. Он вдов, детей нет, зятя помнит. Такие, как он, мстят до гроба. Поезжай.

(Интересный факт: уездные писаря в 1840-е годы были главными носителями компромата. Они вели все «крепостные книги» — записи о купчих, закладных, завещаниях. Взятка писарю стоила в 10 раз дешевле адвоката, а результат был надежнее.)

Через два дня Алексей собрал сход. Крестьяне — мужики в лаптях, ободранных тулупах, с лицами, которые видели и голод 1833 года, и холеру 1840-го — стояли перед барским крыльцом, мяли в руках шапки. Бабы держались сзади, в платках, но любопытные.

Алексей вышел в сюртуке, но без галстука — чтобы не пугать. Рядом — Ефим и бывший полковой писарь Гаврила, которого Алексей пригласил из Петербурга за пять рублей в месяц (парень был пьяница, но грамотей).

— Мужики, — начал Алексей. — Знаю, вам тяжело. Мюллер драл три шкуры. Теперь будет по-другому.

Из-за спин раздался хриплый голос:

— Как по-другому? Оброк уменьшишь?

Алексей узнал Кузьму Плотникова — мужика с медвежьей силой и языком как бритва. Тот был старостой при отце, но Мюллер его снял.

— Оброк не уменьшу, — сказал Алексей. — Но сделаю так, что у вас будет больше хлеба. Слушайте.

И он начал объяснять четырехпольный севооборот. Вместо старой русской трешки («пар—озимь—яровое») он предлагал: пар, озимь, яровое, пары для трав (клевер, люцерна). Мужики молчали. Потом Кузьма, подумав, сплюнул:

— Барин, это по-немецки? Эдак мы без хлеба останемся.

— Это по-научному, — ответил Алексей. — В Англии так уже двадцать лет сеют. Урожайность выше вдвое.

— Так мы не в Англии.

— А вы попробуйте. На одном поле. Моим риском. Если хуже будет — снесу я вам этот севооборот. Если лучше — поделим прибыль.

Алексей знал: крестьяне не верят словам. Они верят фактам. Поэтому он заранее договорился с тремя дворами (вдовы Марфы, бобыля Ивана и молодого Петра) — они согласились на эксперимент за плату вперёд. Остальные смотрели с недоверием, но без бунта.

(Историческая справка: первый в России четырехпольный севооборот был введён в имениях графа Шереметева в 1840-х, но крестьяне сопротивлялись десятилетиями. Воронов шёл на риск, но он был оправдан: через год его поля дали урожай на треть выше соседских.)

Самым сложным было восстановление мельницы. Старая, дедова постройкой, стояла на речке Смородинке — два колёса, амбар с закромами. Мюллер продал мельничные камни Стрешневу (тот поставил их на своей, новой мельнице), а деревянные шестерни пустил на дрова.

Алексей поехал к Смородину (писарю) не только за бумагами — тот, как местный старожил, помнил, где лежат запасные камни. Смородин, красный, рябой, с клюкой в руке, встретил его в избе, пахнущей капустой и керосином.

— Воронов? — прищурился. — Похож на деда. Тот тоже прямым ходом шёл.

— Мне нужны камни, Антип Кузьмич. И люди, кто поставит.

Смородин помолчал. Потом достал из-под половицы тетрадь в клеёнчатой обложке и положил перед Алексеем.

— Камни тебе укажу. Только глянь сперва. Это на Стрешнева. Пять лет копил.

Алексей открыл тетрадь. Там были даты, цифры, имена. «15 июня 1843: купил лесопильню у вдовы Харитоновой за 200 руб., а записал за 500. Разница ушла судье Львову». «7 марта 1845: сплавил по реке краденый лес, меченая бирка — моя запись».

Это что, его лес? — спросил Алексей.

— Его. Лесничий заметил, хотел донести, — Смородин повернул клюку, — через неделю лесничего нашли в Оке. Утопленник.

— А вы не боитесь?

Старый писарь усмехнулся беззубым ртом:

— А чего мне бояться? Моя изба на болоте, дороги нет. Стрешнев меня не найдёт. А вы, барин, держите. Может, пригодится.

Алексей взял тетрадь. И дал Смородину двадцать рублей — все, что оставалось от материнского наследства.

(Любопытная деталь: «утопленники» в Смоленской губернии 1840-х были обычным делом. Река Ока считалась «нечистой» — по ней сплавляли плоты и находили тела раз в месяц. Жандармы не любили соваться — «самоубийства, чего уж там».)

Восстанавливая мельницу, Алексей вспомнил детство. Дед показывал ему подземный лаз от часовни не только к дому, но и к мельнице — старый инженерный ход, который прорыли для того, чтобы в случае осады (французы в 1812 году доходили до Калуги) можно было вывезти зерно. Лаз был завален, но Алексей послал двух крестьян — они через неделю откопали вход.

Внутри оказался скелет. Человеческий. С пробитым черепом — пуля калибра 16 линий (солдатское ружьё). На скелете остатки мундира — русский пехотинец 1812 года.

— Десатир, — сказал Ефим, перекрестившись. — Бежал, поди, от Наполеона, а тут... свои поймали.

Алексей велел похоронить останки по-христиански, а лаз велел расчистить. Теперь у него был секретный путь к реке — и возможность, если придётся, бежать или переправлять товар.

(Историческая справка: в 1812 году, во время отступления Наполеона, тысячи русских солдат дезертировали, скрывались в лесах и подземельях. Их находили ещё через полвека.)

Вторая неделя ноября. Успенская ярмарка в селе Богородицком (пять вёрст от Отрадного) была главным событием года. Съезжались купцы из Калуги, Тулы, даже из Москвы. Тор-

говали скотом, шерстью, самоварами, баранками, ситцем. Цыгане воровали лошадей, монахи продавали мощи, шарманщики играли «Соловья» Алябьева.

Алексей поехал на ярмарку с двумя целями: купить плуг (железный, английский — мечта) и присмотреть лошадей. Ефим тащил за ним охапку денег — триста рублей, занятых у старухи-соседки под грабительский процент (11%, но выбора не было).

Они шли по главному ряду, как вдруг — крик, женский визг, топот копыт, треск.

Из-за поворота, сбивая прилавки, вылетела ****гнедая кобыла**** без седока. В седле — девушка в амазонке (тёмно-зелёной, с медными пуговицами), лицо белое, глаза распахнутые, волосы выбились из-под шляпки. Она тянула поводья, но лошадь не слушалась — явно понесла.

— Дорогу! — заорал Алексей, оттолкнул Ефима и прыгнул под копыта.

Он схватил повод у самой удилы, повис на нём всем весом. Сапоги заскользили по грязи, его протащило метра три, но лошадь замедлилась, захрапела, встала на дыбы — и замерла.

Девушка удержалась в седле. Только шляпка упала в лужу.

— С ума сошли?! — крикнула она не испуганно, а зло. — Вы могли погибнуть!

— А вы — разбиться, — выдохнул Алексей, отпуская повод. Посмотрел на неё.

Это была Анна.

Он видел её прежде — мельком, в усадьбе Стрешнева, когда та выходила к крыльцу с книгой в руках. Но близко — никогда.

У неё оказалось лицо не правильное, но прекрасное. Высокий лоб, нос чуть с горбинкой, губы полные, но сжатые в постоянную злость или иронию. Глаза — серые, с искрами, как река зимой. И осанка — гвардейская, хотя она была не старше двадцати.

— Анна Аркадьевна, я полагаю? — спросил Алексей, вытирая грязь с рук.

Она спрыгнула с лошади, подняла шляпку, отряхнула.

— Для вас — Анна Стрешнева. Но если вы друг моего дяди, то можете убираться к чёрту.

— Я не друг. Я — должник, — усмехнулся Алексей. — Но не по своей воле.

Она прищурилась — так, будто что-то взвешивала.

— А, Воронов. Отрадное. Тот самый, который поднял мертвеца с мельницы.

— Скелета, — поправил Алексей.

— Тем хуже для вас. — Она вдруг улыбнулась — остро, не побарышничай. — Мой дядя говорит, вы самодур и фантазёр. Значит, мы, возможно, поладим.

И она, не прощаясь, вскочила в седло и ускакала, оставив Алексея стоять в луже с разинутым ртом.

(Интересный факт: амазонки — женские костюмы для верховой езды — появились в России именно в 1840-е. Девушка в амазонке считалась «синим чулком», эмансипе, но Анне было всё равно. Она ездила как мужчина — «по-кавалерийски».)

Через три дня Алексей, объезжая поля на рассвете, свернул к «Высокому» — не к дому, а к дальней роще, где был общий колодец, про который забыли оба имения. И там, в четыре утра, он увидел её снова.

Анна стояла у сруба с ведром, в простом платье без кринолина, в платке — совсем не похожая на вчерашнюю наездницу. Она умывалась колодезной водой.

— Следите за мной? — спросила, не оборачиваясь.

— Нет. Искал брод. Тут у вас река поворачивает.

— Врёте. — Она повернулась, вытерла лицо подолом. — Вы ищете правду. Как и я.

— Какую правду?

— О том, почему умер мой отец.

И она рассказала.

Отец Анны, Николай Петрович Стрешнев, был братом жены Аркадия Петровича, то есть дядя пришёлся ей родственником по линии жены, а не по крови. В 1842 году Николай Петро-

вич, помещик средней руки, владелец села Введенское, разорился. То ли карты, то ли неурожай. Он приехал к сестре (матери Анны — Елизавете Григорьевне) и к её мужу, Аркадию Петровичу, просить помощи.

— Дядя дал денег, — сказала Анна. — Но с условием: отец переписет на него Введенское, а сам останется при нём «управляющим». Через полгода отец умер. Официально — от удара. Неофициально... я слышала разговор на кухне: дядя велел не вызывать доктора три дня. Три дня лихорадки без помощи.

— А мать?

— Мать — тень. Она боится Аркадия. Он держит её на ладанниковых каплях. А меня — как приживалку. Я должна играть на фортепиано для гостей, разливать чай и молчать. Если я выйду замуж без его согласия — он отберёт мою долю наследства. Всё, что осталось от отца.

— Так не женитесь, — сказал Алексей, не думая.

— А если я уже хочу? — Она посмотрела ему прямо в глаза. — Но не могу сказать кому.

(Любопытный факт: по законам Российской империи, вдова и дочери имели право на 1/7 часть наследства, если не было завещания. Аркадий Петрович, забрав Введенское, оставил Анне формально 200 душ в другой деревне — но управлял ими сам, так что она не видела ни копейки.)

Анна пришла на следующую встречу (у часовни на границе имений) и принесла книгу в кожаном переплёте с замком.

— Это дневник отца. Я нашла его в тайнике за камином. Там — всё. Каждый разговор со Стрешневым, каждый вексель, каждое имя подкупленного судьи.

— Зачем вы мне это показываете?

— Потому что вы единственный, кто не боится дяди. — У неё задрожали губы. — И потому что я... я хочу, чтобы вы победили. Даже если это лишит меня крыши над головой.

Алексей взял дневник. На первой странице было написано: «Я, Николай Петрович, оставляю сие свидетельство для дочери моей Анны. Если со мной что случится, знай: это сделал Аркадий».

— Боже мой, — выдохнул Алексей.

— Не богохульствуйте. — Она улыбнулась сквозь слёзы. — Мне нужно идти. Увидят — дядя запретит меня в комнате.

— Анна... — Он не удержал. — А спасибо?

— Не благодарите. Отдайте долг — и всё.

Через две недели Алексей заболел. Простудился на мельнице — ноги в воде, ветер с реки. Свалился с жаром, бредил. Ефим позвал доктора Франца Христиановича Бильдерлинга, молодого врача из уезда, немца в третьем поколении, который славился тем, что лечил бедных бесплатно.

Доктор был красив. Высокий, русый, с голубыми глазами, в белоснежном халате, с бородкой à la Alexander von Humboldt. Говорил с лёгким акцентом, знал французскую литературу, играл на скрипке.

И Анна — тайно — симпатизировала ему.

Алексей заметил это, когда доктор пришёл на третий раз. Анна сидела у постели Алексея (сбежала из «Высокого» под видом прогулки) и рассеянно теребила кружево платка. Когда вошёл Бильдерлинг, она порозовела.

— Как пульс, Анна Аркадьевна? — спросил доктор, беря Алексея за руку.

— Учащённый, — ответила она, глядя на доктора, а не на больного.

Алексей стиснул зубы. Температура подскочила — на этот раз от гнева.

Вечером, когда все ушли, он попросил остаться Анну и выпалил:

— Вы кокетничаете с этим немцем?

— С каким немцем? — опешила она.

— С Бильдерлингом. Я видел, как вы на него смотрели.

Она рассмеялась — горько, надтреснуто.

— Вы — идиот, Алексей Петрович. Он — мой единственный друг в этом уезде. Он знает, что я храню дневник отца. Он помогал мне расшифровывать записи о лекарствах — дядя травил кого-то мышьяком. И если вы не способны отличить благодарность от влюблённости, то...

Она заплакала. Не громко — молча, отвернувшись к стене.

Алексей почувствовал себя последней сволочью.

— Простите, — сказал он. — Я не... я просто.

— Вы просто ревнивый осёл, — всхлипнула она. — Как все мужчины.

Она ушла, хлопнув дверью. Три дня не приходила.

На четвёртый день Алексей написал ей записку (через Ефима): «Я добуду правду. А вы не бойтесь. И если вам нужен Бильдерлинг — возьмите его. Мне важна победа, не сердце».

Но ответа не было.

Потому что письмо перехватил Стрешнев.

— Дорогая племянница, — сказал он, входя в её комнату без стука (всегда так делал). — Чьи это любезности? А, Воронов. Тот самый должник.

Он разорвал письмо в клочья, а ей велел:

— Сидеть в доме. Неделю. Без фортепиано, без книг, без прогулок. И если я ещё раз узнаю, что вы виделись с этим выскочкой... — Он наклонился к её уху. — Вы знаете тайну вашего рождения.

Она побледнела.

Тайна: Анна была не племянницей Стрешнева, а незаконной дочерью графа Бориса Васильевича Шереметева-младшего, знаменитого богача и бонвивана. Её мать, Елизавета Григорьевна, состояла при графине Шереметевой в качестве компаньонки — и впала в грех. Когда граф узнал о беременности, он сослал Лизу в деревню, выдал её замуж за Николая Стрешнева (брата своей жены) — и откупился деньгами. Анну записали как «дочь Николая и Елизаветы», но в метриках, которые хранились у Аркадия Петровича, стояла пометка «незаконнорождённая».

Если бы тайна вскрылась, Анна лишилась бы всех прав на наследство, даже на те 200 душ, и была бы вышвырнута на улицу.

Стрешнев использовал это как кнут и пряник: «будешь послушна — молчу; пикнешь — пошлю бумаги самому графу».

Алексей не мог оставить Анну взаперти. Он знал: Стрешнев способен держать её неделями, а потом — выдать замуж за старого, жестокого человека (например, за князя Волынского, которому было за шестьдесят, и который любил «супружеские игры с ремнём»).

План родился сам собой. Тайный ход из дома деда — но куда он выводил? Алексей помнил: в детстве он проходил подземельем полтора часа и упёрся в решётку. Но тогда он повернул обратно. А если пойти дальше?

Он взял фонарь, верёвку и два конверта с документами Смородина — на случай, если придётся подкупать стражу.

Четыре часа под землёй. Крысы, плесень, вода по щиколотку. Один раз на него упала сорвавшаяся с потолка кирпичная пыль — и он чуть не задохнулся. Но в конце — деревянная дверь, обитая железом. Замок висел старый, петли заржавели. Алексей ударил ногой три раза — дверь поддалась.

Он оказался в погребе усадьбы «Высокое». Рядом — лестница на кухню.

— Анна, — прошептал он, поднимаясь в темноте.

Она спала в кресле, голову положив на сложенные руки. Заметила его, но не вскрикнула — только зажала себе рот ладонью.

— Вы... вы сумасшедший.

— Давно, — согласился Алексей. — Идите за мной. Быстро.

Она взяла дневник отца, платок, сапоги на тонкой подошве — и они исчезли в подземном ходе. Через час она уже сидела в Отрадном, пила горячий чай с мятой и дрожала.

— Теперь дядя убьёт нас обоих, — сказала она.

— Нет, — ответил Алексей. — Теперь мы его убьём. Морально. А потом — юридически.

У меня есть план.

— Какой?

— Самый опасный. — Он взял её за руку. — Но с вами — я справлюсь.

Она не отняла руки.

Глава 3. Узел, который связывает.

Всю неделю после побега Анны Алексей просидел в кабинете, разбирая бумаги. Дневник Николая Петровича Стрешнева (отца Анны) оказался сокровищем — и бомбой одновременно. Там были не только записи о махинациях с векселями, но и прямые указания на казначейские злоупотребления Аркадия Петровича.

Алексей выписал на отдельный лист самое страшное.

«12 марта 1843 года. Аркадий похвастался за ужином: он договорился с уездным казначеем Ключевым. Те берут из казны деньги на строительство дорог, а в отчёт пишут „убыль от наводнения“. Тысяч тридцать в год. Доля Ключева — треть. Моя — за молчание — сто рублей в месяц. Я не взял. Аркадий разозлился.»

«1 августа 1844 года. Ключев уволен за пьянство. На его место пришёл Некрасов, молодой, честный. Аркадий говорит: „Некрасова надо приручить. Если не возьмёт деньгами — возьмёт женщиной“. Спрашивает у меня, нет ли на примете крепостной актрисы.»

«23 ноября 1845 года. Сегодня Аркадий проговорился: у него в сейфе хранятся „трофейные“ векселя на полмиллиона. Это казённые деньги, которые он прокрутил через подставные подряды. Если бы Ревизионная комиссия узнала... Но комиссия в кармане.»

Алексей отложил дневник. Пальцы дрожали. Полмиллиона рублей — это состояние, с которым можно купить полгубернии. И Стрешнев не просто воровал — он создал преступную сеть, куда входили чиновники, судьи, даже один жандармский полковник (фамилия была зачёркнута, но Анна говорила, что это Бердяев, родственник самого Бенкендорфа).

— Ефим, — позвал Алексей. — Ты знаешь, где уездный казначей Некрасов сейчас?

— А кто ж его знает, барин. Говорят, его перевели в Кострому. После того, как он подсчёты не сошлись.

— Подсчёты не сошлись... — Алексей усмехнулся. — Значит, Стрешнев его всё-таки убрал. Не убил, но вышвырнул.

(Историческая справка: в 1840-е годы казначейские злоупотребления в провинции были нормой. Ревизии проводились раз в три-пять лет, и если чиновник делился с ревизором — его не трогали. Только самые наглые воры попадали под суд. Стрешнев был умнее: он крал, но не жадничал, и ревизоры закрывали глаза.)

Алексей мог бы отправить копии дневника губернатору. Но тогда:

— Анна осталась бы без наследства (дневник — улика против её дяди, но и напоминание о её незаконнорождённости),

— Следствие тянулось бы годами,

— И главное — Стрешнев, припертый к стене, мог уничтожить все улики и сбежать за границу (у него был австрийский паспорт на имя «фон Гофман», это Анна случайно видела).

Алексей придумал другое. Шантаж наоборот — не «я тебя уничтожу», а «я тебя отпущу, если ты вернёшь мне невесту».

Он изложил план Анне. Та слушала, кусая губу.

— Вы предлагаете моему дяде сделку? Он — гидра. Отрубишь голову — вырастут две.

— Я предлагаю ему позор, — ответил Алексей. — Если он согласится на брак и вернёт хотя бы часть украденного — молчу. Если нет — завтра же губернатору уходит заказное письмо.

— А он не убьёт нас раньше, чем письмо уйдёт?

— У него сегодня званный ужин. Восемь гостей из Петербурга. Он не рискнёт.

— Вы безумец.

— Ваш безумец, — поправил Алексей.

Она впервые за долгое время улыбнулась настоящей улыбкой — не колкой, не защитной, а тёплой, как печка в зимнюю стужу.

На следующий день Алексей поехал в «Высокое». Один. Без оружия — только папка с бумагами.

Стрешнев принял его в оранжерее. Там было душно, пахло лимонами и землёй. Стеклопанная крыша пропускала мутный ноябрьский свет. Аркадий Петрович сидел в плетёном кресле, курил сигару, на столике перед ним стоял кофе и коньяк.

— А, Воронов, — сказал он не поднимаясь. — Жених? Или убийца?

— И то, и другое, — Алексей положил папку на стол. — Сначала прочтите. Потом поговорим.

Стрешнев читал. Сначала небрежно, потом впился глазами. Лицо его менялось: с розового на белое, с белого на серое. Он дочитал последнюю страницу, закрыл папку, положил дрожащую руку на стол.

— Это... откуда у вас?

— Дневник вашего шурина, Николая Петровича. Анна дала. — Алексей сел напротив. — У меня три копии. Одна у друга в Петербурге, другая у нотариуса, третья — в надёжном месте. Если со мной что-то случится — копии уйдут к губернатору, министру финансов и в «Северную пчелу».

— Вы блефуете.

— Проверьте.

Стрешнев помолчал. Взял кофе, но пить не стал — только поставил чашку на блюдце, и та звякнула.

— Чего вы хотите?

— Свободы Анны. Брак со мной. Без вашего согласия венчание не разрешат — вы её опекун.

— Опекун, — повторил Стрешнев с горечью. — Да я её ненавижу. Она — напоминание о том, что мой брат был слабаком.

— И всё же. Даете согласие?

— А если нет?

— Тогда завтра же вы — герой скандальной хроники. «Надворный советник Стрешнев уличен в казнокрадстве». Вы знаете, что бывает с такими? Лишение чинов, ссылка в Сибирь, конфискация имущества.

Стрешнев усмехнулся — сухо, как треск полена.

— Вы наивны, Воронов. У меня покровители в Петербурге. Тот же граф Орлов. Меня не тронут.

— А газеты? — спросил Алексей. — А слухи? Ваша репутация в дворянском собрании? Вы знаете, что ваши соседи уже шепчутся? А после статьи — заговорят в голос. И ваши покровители отвернутся. От дурной славы спасаются, как от чумы.

Стрешнев встал, подошёл к стеклянной стене, упёрся лбом в холодное стекло.

— Хитрый вы, — сказал он тихо. — Как дед. Тот тоже умел нажимать на больное.

— Учился, — ответил Алексей.

Долгая пауза. В оранжерее зажужжала муха — ноябрьская, полусонная.

— Хорошо, — сказал Стрешнев, не оборачиваясь. — Брак разрешаю. Но. — Он резко повернулся. — Вы подпишете обязательство: никогда не обнародовать эти бумаги. Ни при моей жизни, ни после моей смерти. И вернёте мне дневник.

— Дневник — верну. Копии — останутся у меня. Как гарантия.

— А если я умру?

— Тогда копии сожгу. Они мне не нужны. Мне нужна только Анна.

Стрешнев посмотрел на него с нечитаемым выражением. В его глазах мелькнуло что-то похожее на уважение — и тут же погасло.

— Вы дурак, Воронов. Из-за бабы — идти на риск.

— Из-за чести, — поправил Алексей. — Анна — часть моей чести.

Они ударили по рукам. Стрешнев велел подать чернила и гербовую бумагу. Алексей написал подписку, вложил её в папку к дневнику. Стрешнев спрятал всё в свой сейф — тот самый, что был вмонтирован в стол.

— Венчание — через неделю, — сказал Стрешнев. — В церкви Покрова в вашем Отрадном. И чтобы никаких гостей. Я привезу Анну и её мать. Свидетели — мои люди.

— Свидетели — мои и Анны, — возразил Алексей. — Ефим и доктор Бильдерлинг. Или сделка отменяется.

Стрешнев скрипнул зубами, но согласился.

Анна уже жила в Отрадном — формально как «гостья», но на самом деле как невеста. Алексей поселил её в комнате матери, той самой, с видом на реку. По вечерам они играли в шахматы, спорили о Гоголе и Прудоне, и один раз она прочитала ему стихи Баратынского наизусть — о том, что «любовь есть сон, а смерть — пробуждение».

— Зачем вы читаете мне такие печальные стихи накануне свадьбы? — спросил Алексей.

— Чтобы помнить: счастье хрупко, — ответила Анна. — Мы идём на сделку с дьяволом. Вы думаете, Стрешнев простит? Он будет ждать момента, чтобы ударить.

— У нас есть козыри.

— У нас есть тайна моего рождения. Пока дневник у него — он может в любой момент объявить, что я незаконная. И наш брак признают недействительным.

Алексей не подумал об этом. Он встал, подошёл к окну.

— Значит, надо забрать дневник.

— Как?

— Тайный ход. Сейф в столе. Я видел, как Стрешнев набирает код — три поворота влево, два вправо.

— Вы шпион? — спросила Анна с восхищением и ужасом.

— Я бывший штабс-капитан разведывательной команды. — Алексей улыбнулся. — Нас учили подмечать детали.

(Интересный факт: в русской армии 1840-х годов существовали «секретные экспедиции» — прообраз военной разведки. Воронов служил в одной из них, хотя официально числился в обычном полку. Он умел вскрывать конверты паром, фотографировать документы на просвет и запоминать лица с одного раза.)

Накануне свадьбы в Отрадное приехал доктор Франц Христианович. Он привёз лекарства для крестьян (бесплатно, на свои) и — тайное письмо от Стрешнева, которое ему передали на почте.

В письме было всего три строчки: *«Воронов. Знаю, что вы читаете дневник. Верните его лично мне завтра после венчания. Иначе — последствия».

— Это угроза? — спросила Анна.

— Это паника, — ответил Бильдерлинг. — Стрешнев боится, что вы начнёте играть по своим правилам. Он привык, что все пляшут под его дудку.

— Франц Христианович, — Алексей налил доктору коньяку. — Почему вы нам помогаете? Вы ведь могли бы служить Стрешневу. Он богат, у него связи.

Бильдерлинг усмехнулся, поправил пенсне.

— Потому что я видел, как он отказал в лечении умирающему ребёнку из-за того, что отец задолжал ему три рубля. Ребёнок умер. А через неделю Стрешнев купил бриллиантовую булавку за триста. С такими людьми я не дружу. Клянусь Гиппократом и своей бородой.

Анна рассмеялась — впервые за долгое время звонко, как до смерти отца.

— Останьтесь свидетелем, Франц Христианович. Мы вас отблагодарим.

— Мне не нужна благодарность. Мне нужен повод остаться в этой грязной губернии. С такими пациентами, как вы, — он подмигнул, — я не чувствую себя предателем клятвы.

Девятнадцатое ноября 1847 года. День начинался тихо — серое небо, редкие хлопья снега, ветер с востока. В церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Отрадном с утра топили печи. Старый священник отец Пафнутий, тот самый, что помнил деда Алексея, готовил аналой.

Алексей оделся в тёмно-синий сюртук, белый галстук (завязал с трёх попыток), сапоги начистил до зеркального блеска. На груди — Георгиевский крест деда (взял из тайника впервые, чувствуя тяжесть награды и ответственности).

— Ну, дедушка, — прошептал он, глядя в зеркало. — Благослови.

В дверь постучали. Ефим, разодетый в новый армяк, протянул записку.

«Воронов. Я во дворе. Выходите один. — Анна»

Он вышел на крыльцо. Анна стояла у коновязи, в тёмно-зелёном платье (не свадебном, другого не было), с цветами в руках — Ефим нарвал в оранжерее последние астры.

— Что случилось? Венчание через час.

— Я хочу сказать вам... тебе... кое-что. — Она сжимала цветы так, что побелели костяшки. — Если мы обвенчаемся, ты станешь моим мужем. А я стану твоей женой. Это значит, что я перестану быть твоей тайной и ты — моей. Но есть одна тайна, которую я обязана раскрыть до венца. Вдруг ты раздумаешь.

— Я не раздумаю.

— Не перебивай. — Она подняла глаза — влажные, решительные. — Я не только незаконнорождённая. Я... была помолвлена.

— С кем?

— С князем Волынским. Тем самым стариком. Дядя хотел выдать меня за него. Я сбежала за три дня до свадьбы. Волынский поклялся отомстить. Если он узнает, что я вышла за тебя...

— Он узнает, — спокойно сказал Алексей. — И пусть. Я не боюсь старых похотливых козлов.

— Он не просто старый козёл, — Анна заплакала. — У него связи в Третьем отделении. Он может уничтожить нас обоих.

Алексей взял её за плечи.

— Слушай меня. Мы с тобой — команда. Я — шпага, ты — кинжал. Ты умнее меня, хитрее и смелее. Вместе мы справимся с любым князем, любым дядей и любым жандармом. Хорошо?

Она уткнулась ему в грудь, всхлипнула, потом отстранилась и вытерла щёки подолом (как тогда, у колодца).

— Хорошо. Но скажи мне одно слово.

— Какое?

— Просто скажи, что ты меня любишь.

Алексей помолчал. В его полку считалось, что любовь — это слабость, что мужчина должен быть твёрдым, как булыжник. Но сейчас, глядя на неё, с астрами, с мокрыми ресницами, он понял: дед был прав. Честь — это когда тебе страшно, а ты не бежишь. А любовь — это когда ты готов бежать куда угодно, лишь бы она была счастлива.

— Люблю, — сказал он. — До гроба. И даже дальше.

Она улыбнулась — светло, незащитно — и поцеловала его в щёку.

— Тогда пошли. Нас ждёт Бог.

В церковь они вошли в два часа дня. Гостей было мало: Ефим, доктор Бильдерлинг, мать Анны — Елизавета Григорьевна (молчаливая тень в чёрном платке), и двое людей Стрешнева — приказчик Семён и охранник Филипп, оба с подозрительными лицами.

Стрешнев опоздал на пятнадцать минут. Вошёл в церковь, снял пальто, перекрестился шибко, как заправский богомолец. Встал в углу, скрестив руки на груди. Глаза бегали.

Отец Пафнутий начал обряд. Старый батюшка читал быстро, но с чувством — он помнил покойного Петра Ивановича, крестил Алексея, хоронил его мать. Когда дошёл до вопроса: «Имаши ли произволение доброе и непринужденное?» — Алексей ответил твёрдо: «Имам». Анна чуть замаялась, потом выдохнула: «Имам».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.